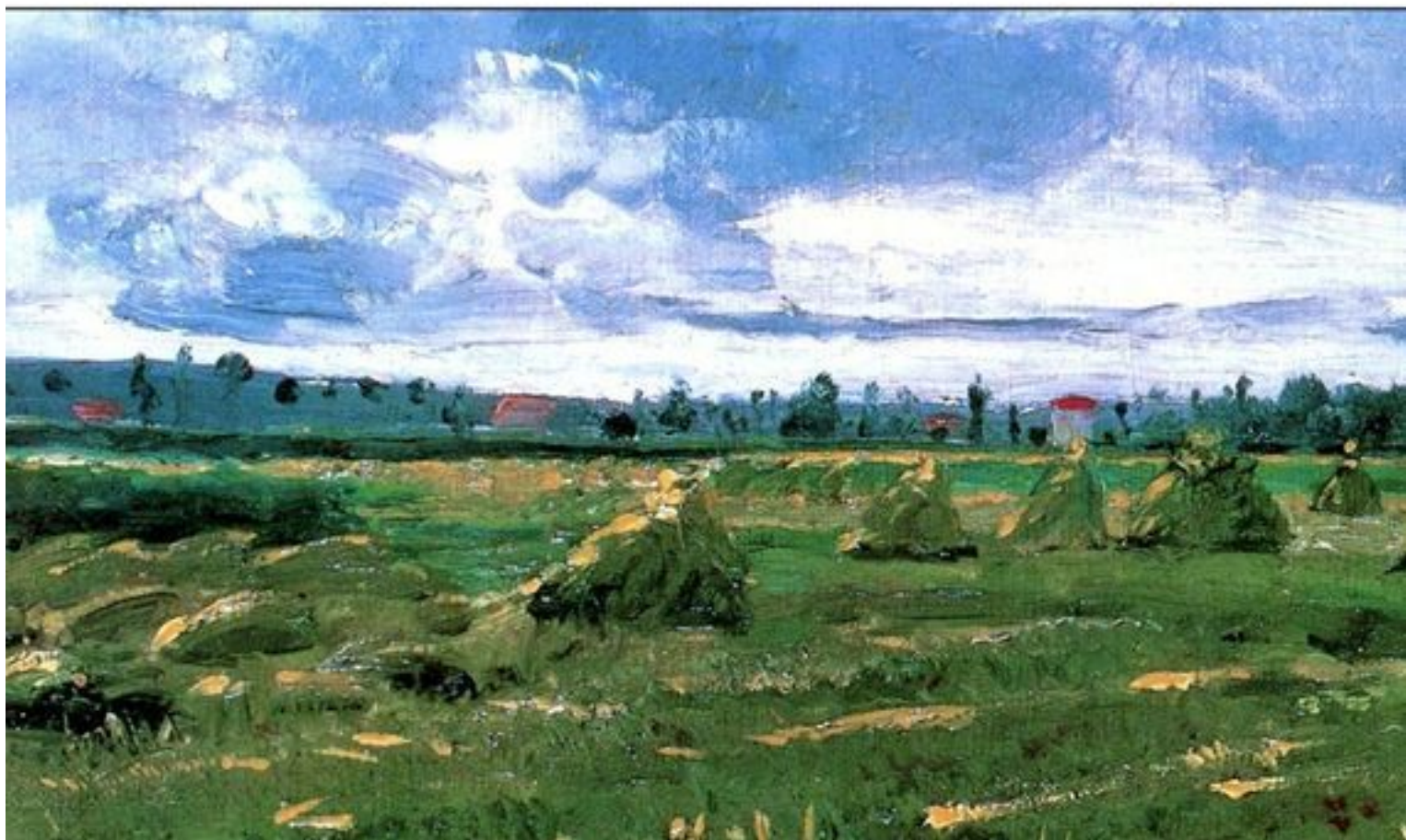


Олег Копытов

Дорога к зеркалу

Роман



Олег Копытов

Дорога к зеркалу. Роман

«Издательские решения»

Копытов О.

Дорога к зеркалу. Роман / О. Копытов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-833264-7

Первые два семилетия — самые важные в жизни любого человека: это его ключ к себе, его Дорога к зеркалу. Всё зависит от того, как пройден этот путь.

ISBN 978-5-44-833264-7

© Копытов О.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Дорога к зеркалу

Роман

Олег Копытов

Я иду к своему средоточию...

К окончательной формуле...

К зеркалу и ключу...

Скоро я узнаю,

Кто я.

Х. Л. Борхес

© Олег Копытов, 2016

ISBN 978-5-4483-3264-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Говорил однажды отец, сидя за вечерним столом в деревенской уральской избе: «Они родились в один день. С разницей в четыре года. Такое, пишут, бывает один случай на миллион... Специально точно подгадать было невозможно. Тем более Олег-то „начинался“ именно здесь... Да. В лесу за Спиридоновским покосом... Специально ездить „делать“ Лену сюда же через 4 года в тот же день?.. Да и мне через четыре года отпуск-то летом – не помню, почему, – и не дали. Редко бывает, но не дали! Так что сестренку Олегу „догоняли“ во Фрунзе... Но, конечно, очень хотелось, чтобы дети родились в один день»...

Свое первое дальнейшее путешествие я совершил, когда мне исполнилось четыре месяца. Очень уж хотелось отцу порадовать свою мать – в кержацких семьях именно мать глава родового клана, всегда старше мужа – рождением первого внука от её младшего, восемнадцатого сына...

Когда Николай и Клара Копытовы со своим четырехмесячным лялькой садились в поезд, в ноябрьском звонко-прозрачном воздухе города Фрунзе летали последние, тоньше тонких, осенние паутинки, приятное всему живому солнце, нежаркое, остывающе-теплое – ласкало крыши и стены каменных домов, деревья с остатками листьев на головах млели от счастья в неге поздней, отнюдь не последней на Земле осени. Скоро деревьям спать – а затем снова становиться молодыми... Сверкали чистыми окнами троллейбусы и «Москвичи» с «Победами», солнечные блики беспечно скакали по городу...

В конце ноября 1963 года в деревне Малый Сулай Юрлинского района Пермской области мела метель. Большие березы возле баньки Петра Копытова казались от ствола до мельчайших ветвей чёрными, стонали от ветра и стужи. Отворишь дверь – из сеней в избу врывается густой морозный дух и не скоро замирал в маленькой кухоньке рядом с русской печью...

Ехать нужно было так. Двое с половиной суток – от Фрунзе до Свердловска. Затем – ночь на поезде от Свердловска до Перми. Здесь у Николая Копытова многочисленные друзья и родственники, можно за пару дней паровозную усталость снять... Далее – электричкой до станции с удивительно художественным именем Верещагино. От неё – сто километров пути автобусом до столицы Коми-Пермяцкого округа городка Кудымкара... Тут уж как повезет. Если сразу сподобится попасть на автобус в Юрлу – ещё ничего. Если на следующий день – придется ночевать на автовокзале, похожем на железнодорожную станцию, где днем – скука непролазная и удивительно своеобразный запах пермских автовокзалов, какой-то невинно-затхлый, если хотите; а ночью здесь клопы...

От Юрлы, если к брату Николаю Илье на сутки-другие не завалиться, можно прямо в Малый Сулай на телеге... Только телегу трудно достать. Тогда ждать, когда пойдет единственный автобус в Дубровку, село дальше, но относительно большое, там даже школа есть (в неё-то Колька Копытов семь лет бегал). Сойти километров за пять до Дубровки – и направо через лес-тайгу с розовыми лесными гвоздичками и кустами жимолости по бокам тропки километра два...

Совсем нетрудно предположить, как трудно было решиться матери на такую поездку. Но – что делать! Во-первых, отпуска по уходу за ребенком тогда в СССР были всего шесть месяцев. Скоро ей снова нужно было идти работать в свою контору на хлопкопрядильной фабрике. Меня – в ясли. Естественно, фабричные. Во-вторых... Баба Аня так до конца жизни и не простила матери того... что Колька, последний её сын, который должен, обязан, иначе быть не могло в кержацких семьях! – остаться при родителях, – уехал, да еще и не в Кудымкар или Пермь, а вообще, как считала баба Аня, в чужую страну... Хир.. Хирхизию – противно такие слова говорить!.. При чём здесь Клара? А ни при чём! Виновата и всё!.. Да ещё имя нерусское. Все они нехристи!.. В-третьих, поехать с четырехмесячным ребенком из тепла

в метель и стужу, на десяти перекладных, к злой свекрови, наверное, мать заставило и то, что семья, из которого проклюнулся я, было брошено в неё в уральском бору...

Я простудился уже в первом поезде. В безлюдном срединном Казахстане, где-то за станцией Балхаш, какие-то подонки, от своей заброшенности в это безлюдье, что ли? – стали швырять в окна проходящего поезда мерзлые камни. Попали в окно именно того купе, где ехали Николай и Клара с ребенком и еще двое командировочных... Неплохо до этого ехали. Вели почти светские беседы. Пили чай в весело дребезжащих подстаканниках. Трое молодых мужчин, с высшим образованием, да ещё молодая мать – студентка-заочница... Касались даже политики! А чего! Какие-такие «органы» и «парткомы» здесь! Почти на Луне! Дальше, – на Марсе! На тысячи километров вокруг – красная глиняная, выжженная солнцем за долгое лето земля. На ней – пахнувшая тяжеленным калёным железнодорожным маслом двупутка. Да бегают, чадя, прокопчённые тепловозы, водя составы, составы, составы. С востока на запад, с запада на восток. С востока на запад, с запада на восток. С востока на запад, с запада на восток... Так есть, было и будет, казалось, всегда. Как, казалось, всегда есть и были злые свекрови, съёмные комнаты в частном секторе у куркулистых бабок... Маленькие зарплаты. Но при этом – красивая жена, русская, но почему-то чем-то напоминающая стройную грузинскую княжну... Между прочим, часть их родственников жила в Северной Осетии, в Орджоникидзе – тетя Пана и дядя Миша, шут его знает, может, к кому-то из них осетин в кровь пробрался, или осетинка... Фрунзе – красивый южный город, зелененький, чистенький, ровно нарезанный, как праздничный торт, прямыми улицами, где гуляй хоть день-деньской – не надоест... Да, нет! Русских здесь очень много. Большая половина. Киргизов не так уж много. В городе. Чем выше в горы – тем больше. В Нарынской области, на самой верхотуре маленькой республики – там да, одни они. Нормальные люди. Жить с ними можно. Чингиза Айтматова знаешь, читал? Это же талантище! И много там таких... А в центре Фрунзе, знаешь, есть такая, ну клумба, что ли, в виде земляной вазы в пять метров высотой, представляешь – вся, по всей своей земляной поверхности в цветах!.. А вокруг этой вазы ещё и целый грот цветов и цветущих кустов, декоративные лианы с фиолетовыми, желтыми и красными колокольчиками цветов и розарий, запах – дух захватывает, как в сказке! Выйдешь из этого грота – площадь из светлых плит, как маленькое озерцо, и сразу за ним – белокаменное ЦК республики, как дворец шаха какого-то!..

Да... Ехали Николай и Клара с ребенком и еще двое командировочных в купе поезда. Неплохо до этого ехали. Вели почти светские беседы. Пили чай в весело дребезжащих подстаканниках.

И тут этот камень, вонзившийся, как пушечный снаряд, в большое окно узкого купе... От неожиданности никто толком даже не успел испугаться. Потом всех затрясло, мать заплакала, даже заголосила, схватив к груди мирно посапывающего карапуза, прислушиваясь не слухом, а сердцем – жив?..

Я был жив. Но всё-таки проснулся. И посмотрел куда-то вверх очень серьёзным взглядом. Ещё плавая где-то там, в безмятежном Божьем мире, откуда мы все приходим, и туда же возвращается, – ещё плавая в Божьем Универсуме, той части Горнего Мира, где всё зарождается для жизни, я уже точно знал формулу неотвратимости платы за грех... Я видел, как в это же самое время в сельской школе в Калужской области молодой директор школы подписывает приказ об увольнении молодой учительницы... Которую совсем недавно, в середине того же шестьдесят третьего, несколько учеников повалили на её учительский стол и по очереди стали насиловать... Формулировка увольнения – за аморальное поведение, не совместимое со званием педагога. И директор был прав! Парни, конечно, по советским законам надолго ушли за периметр, там их тоже насиловали, но дело не в этом. Дело в том, что это было на самом деле последним действием вычисления по формуле неотвратимости возмездия за грех самой учительницы. Годом ранее она совратила мальчишку из своего же класса. За его неуспешность

заставляла удовлетворять свою похоть. Учительница преподавала математику, наверное, догадывалась и о той высшей математике, которая знает, что ждет тех, кто бросил большой камень в окно узкого купе поезда «Фрунзе – Свердловск», где посапывал малыш, ещё плавающий в облаках Горнего Мира...

В Свердловске с красивой, словно маленький Ленинград, привокзальной площадью, солидной набережной Исети, зелеными крышами пары старых домов и всем остальным чугуновым хламом заводов и какими-то клоповниками безобразно натканных домов, – в Свердловске не задержались. Зима. Билеты свободно. Пересели на поезд до Перми. Поехали. Но я уже вовсю орал. Другие – дети как дети. Если простудятся – вялые, спят. Сон – лечит. Я орал, как недорезанный, всю дорогу. Соседи терпели. Только косились на этот угол плацкарта у туалета, где орал, почти беспрерывно, этот чумной, а его мать, уже почти не стесняясь, выпрастывала из кофточкой белую грудь очень правильной, иконы пиши, формы, совала ему, а он – орет и орет, орет и орет, орет и орет...

Зато в Перми-и!

В Перми, конечно, остановились у Николая Спицына – лучшего друга отца, они потом ещё лет двадцать будут дружить, ведь отец ездил в отпуск из Фрунзе на Урал каждый год, – а до этого вместе учились в университете на истфаке, тоже, конечно, дружили... Спицыны тоже снимали комнату в частном доме у каких-то стариков, правда, старики были победнее, в России все тогда жили победнее, чем в Средней Азии, поэтому платили Спицыны квартплату намного меньше, – чуть ли не двадцать рублей. Это по сравнению с Копытовыми – когда ровно половина из Клариных 90 рублей уходила за жильё!.. Ада Спицына – такая пышнотелая, но не толстая, тьфу, тьфу, тьфу, причем с осиной талией, с высоко уложенными волосами типичной блондинки шестидесятых годов... Таковой, она, впрочем, почти на всю жизнь и осталась... А Кольша Спицын уже тогда форсил... Интеллигент от ногтей до ровненьких усиков и остренькой – под Дзержинского, бородкой. Таким же холеным, холодным, только у Спицына, в отличие от Дзержинского, не было ни капли пронзительности, – взглядом...

Молодым все нипочём! Даже женатым и с детьми. У Николая с Адой была уже девочка полутора лет – Лена. Конечно, потом это будет моя первая, конечно, недостижимая, не то что безответная, – любовь... Тогда – худющий лягушонок, в огромных для неё синих трусиках и белой майке... Ничего! Вот лет через 12—13!

Разговоры, разговоры, разговоры! Разговаривали медленно, растягивая удовольствие...

Ада – врач. Она осмотрела меня и сказала, что у Олежки все признаки простуды в ранней стадии, и если ехать к родителям в деревню, мало ли, чем это всё может кончиться... Она-то острее всех понимала, какая это авантюра... Ну, да есть же там поблизости от деревни какая-нибудь амбулатория... «Амбулатория»! Ада всю жизнь, с пеленок, была городским человеком. В деревню ездила только «на природу». Она краешком ума не могла заподозрить, что уже в Юрле царил девятнадцатый, а то и вовсе восемнадцатый век. Прочти описание Радищевым из «Москвы – Петербурга» виденной им крестьянской избы, а затем окажись на краю Юрлы и войди в любой дом... А уж в Малом Сулае!

Здесь стояли такие же, как и сто, и двести, триста лет назад избы из сосновых бревен, мох между бревнами, сени, в избе – справа – полка печи, сразу над входом – полати, широченные, чтобы все десять, двенадцать, четырнадцать, сколько их там! – ребятишек спать могли, слева и прямо – лавки, крашенные, конечно, в углу слева от входа – вместо икон – чугунный кержацкий крест с распятым Спасителем, под ним – большой, крепчайший, на всю семью стол, с такой столешницей, что скобли её ножом после обеда лет двести – до конца всё равно не сотрешь. Лавки только с двух сторон стола, поэтому в избе несколько табуреток, низеньких, маленьких; на стенах – вот они украшения цивилизации! – по два, иногда три «иконостаса» семейных фотографий, выцветших, черно-белых, да в каждой избе – радио, коробочка со шнурком:

«Говорит Москва! Говорит Москва!» – по несколько раз в день включается Пермское радио, новости и культура, писатели всякие, часто – книги ихние дикторы читают, в середине дня – концерт по заявкам трудящихся... А большой белый бок русской печи в главной комнате избы, заходит направо в кухонный угол, где само сладко-жаркое лоно русской печки, полки с посудой, кадка для мытья... В избе бабы Ани и деды Пети напротив входа – окно. Не широкое, но и не узкое, строгий прямоугольник, рамы составляют узкий крест. В окно видна дорога у дома, единственная дорога, вдоль которой и стояла испокон веку деревня; сейчас дорога почти всегда безлюдная; виден мореный временем, как и все избы в деревне, дом напротив – ягодное дерево ирга взметнулось вверх между избой и загородью. Этот дом заколочен с тех пор, как хозяин-старик помер. Дальше – ровно во весь горизонт лес. Поскольку деревня на пригорке – лес не глухой стеной, а зеленым морем. В нём остров высокого бора, остров более светлого оттенка, чем само зеленое море. По поверью, этот высокий бор посадили декабристы... Всё!.. Впрочем, нет. Есть еще в избе – от входа справа под полкой – ступени в подпол с запахами. И не заметишь лаз в полке. И между полкой и полом – ровненькое маленькое окошко для кошки, чтоб мышей из подпола выводила. Да нет кошки: не любила баба Аня кошек...

Как добрались Клара с Николаем до Малого Сулая из Перми – в стужу и метель, пеленки нигде не поменяешь, не поспишь, всё время – мёрзло, мёрзло, мёрзло! – как добрались из Перми до Малого Сулая лучше не вспоминать.

Олежка орал всю дорогу. Приехали – баба Аня в подпол за «белым вином». Кержаки иначе современную водку и не называли.

Дед Пётр – не то, что баба Аня, которая, почитай, за всю жизнь никуда и не выезжала, – бывал аж за границей. Прошёл в Отечественную войну Западную Украину, Польшу, Чехословакию, Венгрию, пол-Германии, даже участвовал в десанте советских штурмовых войск в Данию, представляете! – весь мир повидал. Почти что мог поговорить с образованными в университетах на их языке, да ещё и, благодаря своему невиданному опыту, не казаться, а на самом деле быть выше их, не просто «по возрасту», а по уму жизни, этот ум светился не в словах его, а – в глазах. Говорил дед Пётр мало. Я его видел разговарившимся и с веселыми глазами, такого с детской улыбкой, выпирающей нижней губой из-под густой бороды, – только однажды, когда он рассказывал о волхвах и маленьком Иисусе... Баба Аня больше молчала и короткими, рассчитанными годами движениями ставила на стол нехитрую деревенскую снедь... Рассердится, а сердчала ж иногда, как же иначе – произносила как-то буднично: «Да буде-и ты трое проклят»...

А уже на второй день гощения я подозрительно притих. Личико стало морщиться, скулиться, что ли. Кашлял, как старый дед. Тут без врача всё понятно – воспаление легких. Пневмония. «Скорую помощь» вызывать? Не смешите! Это в городе «скорая помощь»: позвонил – раз и примчалась. Здесь иногда врач приходит на третий день после похорон. Дед Петр в 1977 году так же умер. Просто не дождались «скорой» из района, когда его в лесу деревом придавило, а то жил бы все сто лет... Родился дед в 1900-м...

Дед помолился да пошел к совхозному бригадиру просить лошадь. Своей, конечно, не было. Все кони – совхозные. Крестьянам, «рабочим совхоза» положено иметь только корову и телка. На корове за сорок вёрст в Юрлу не поскачешь... А там ещё сыщи врача. А там докажи ему, что нужно ехать именно к твоему внуку, а не к внучке Спиридона из Большого Сулая или сынку Нюрки из Дубровки, или к самой Нюрке, пятый раз на сносях...

Я бы умер там, где был зачат, не прожив и полугода на этом свете... Врач, конечно, приехал. Долго ждали, но приехал... На грузовике, похожем на военную «полуторку». На том же грузовике, после того, как вкололи мне каких-то уколов, повезли в Юрлу. И довезли живого. И там, действительно, была амбулатория – так с каких-то советских пор стали звать земские, крестьянские больницы... Но почему я не умер в те сорок часов, пока ждали врача? В те короткие и долгие, как вечность, часы, когда в грузовике, похожем на военную «полуторку», везли

в райцентр перепуганную до онемения женщину... да не женщину, по сути-то – девчонку? Почему я не умер? Бабкиными молитвами?... Ими. Больше нечем было меня спасти. Но вот первый вопрос... Он же – последний в моей жизни. Неразрешенный, да и, наверное, неразрешимый вопрос. Почему, зачем Бог меня тогда спас? Для чего он меня готовил? И это **то**, для чего он меня готовил, я уже совершил и просто доживаю? Или ещё совершу? Или Бог просто... сми-ло-сти-вил-ся?... А может быть, в отношении *этого* младенца Он проявил какую-то *человеческую* слабость?... Прости Господи!

Я начал помнить себя с двух лет. Тем летом мы тоже были на Урале... Но помнить себя я начал по возвращении во Фрунзе... Это была главная улица. Залитая до краев солнечным светом. Первое, что я помню – это большие, разноцветные витрины какой-то странной расцветки. Основным тоном был черный, и, вроде бы, он должен был подавлять собой, ощущать себя строгим отцом всех других легкомысленных красок: всех этих желтых, красных, голубых завиточков, цветочков и кружев на нём. А на черном были именно легкомысленные светло-желтый, бирюзовый, ярко-розовый... Но черный не подавлял. Он – не потому ли что вокруг было всё очень солнечно, была такая пусть главная, но веселая, радостная, вся в зелени деревьев улица, напротив – «Детский мир», вразвальяшку, опять же легкомысленными красками на лбу двухэтажного, – да нет, с виду не угадать, сколько этажей, но не очень высокого здания – эти буквы, – **ДЕТСКИЙ МИР**, – не потому ли черный цвет на витраже здания, около которого я стал ощущать мир, вернее, запомнил вхождение в этот мир, – не подавлял, не казался черным, что вокруг всё было так спокойно-радостно?

Второе, что я помню – стоящего рядом отца. Именно стоящего, а не идущего. Наверное, я, двухлетний малыш, так вылутился на этот радостно-черный цвет витрины, что отец не решился вести меня дальше, и мы постояли там немного...

Потом помнится ощущение дома... возвращения домой... Это было так удивительно!.. У нас ещё не было своего дома. Мы жили у двух симпатичных пожилых людей – тети Шуры и дяди Юры. Мы жили у них, потому что слова «снимали комнату» здесь не подходят... Там были большие зеленые ворота – распах для автомобиля и калитка для входа, дворик, залитый молочного цвета бетоном, налево – гараж для «Победы», на которой дядя Юра никогда не ездил, а выводили «Победу» только тогда, когда из города с загадочным именем Ош приезжал дяди Юры сын. Мне всегда хотелось побывать в этом Оше. Потому что всегда праздничный приезд сына дяди Юры сопровождался этим загадочным словом – Ош... Застолье на стеклянной веранде дома, виноград – приезд сына дяди Юры совпадал с созреванием первых сортов винограда. Потом выводили «Победу» – кофейного-с-молоком цвета, огромную добрую железную лягушку. Все начинали её мыть, и мне весело до невозможности было принимать участие в этой суеде, где много воды, брызг, ручейков, вытекающих, стекающих, струящихся по стеклам... Как залиvisto лаял Шарик – собака, много больше болонки, но меньше южнорусской овчарки. Как томил своей темнотой и прохладой сад-огород, начинавшийся за стеной винограда. И всё такое тесное, хорошо по-детски тесное... Много позже мама рассказывала, что, когда она была беременна мной, она тоже летала в Ош. Её посылали туда в командировку. Она говорила, что, когда ходила мной, ей всегда хотелось лимонов. В самолет, летящий в Ош, отец дал ей целую сетку лимонов. Маме было очень стыдно, и в тесном самолете все на неё смотрели, но она ничего не могла с собой поделаться, и, не морщась, съела полсетки лимонов за сорок минут перелёта через перевал, отделяющий Фрунзе от второго по величине города Киргизии – Оша. А никакие автобусы никогда через этот перевал не ходили и не пойдут. Слишком высоко, круто, слишком опасно перевозить людей на автобусе через этот перевал. На самой высокой точке этого перевала – через него всё-таки есть автомобильная дорога, – всегда лежит снег, и, наверное, и сегодня эту самую высокую точку перевала сторожит не очень старый полноватый киргиз в пахнущем живой овцой тулупе...

А бабушка Тоня и дедушка Вася – мама и папа моей мамы – жили поблизости от того дома, где мы снимали комнату у тети Шуры и дяди Юры. Тоже, конечно, в частном доме. Это был целый городок, чуть ли не город, очень плотно застроенный частными домами. Все, как один, ярко беленые, с невысокими заборами, многие с палисадниками. Во всех были маленькие, темные, тесные огородики-сады и во всех без исключения дворах рос виноград... Говорят, самый лучший – у моего деда Васи... Всё это так и называлось – городок. Точнее – Рабочий городок. Наверное, потому что предполагалось, что все, кто здесь живет, – рабочие. Рядом – большая хлопкопрядильная фабрика. И станция Пишпек, забитая грузовыми составами. Во многих – вагоны с хлопком-сырцом. Горами грязно-серой от долгой перевозки ваты. Хлопок привозили из соседнего Узбекистана (норма сбора – 50 килограммов ваты в день на человека, под палящим солнцем, каждый – в позе буквы «г» с утра до ночи, а машинами собирали мало: машины рвут нежные волокна), – хлопок кидали вагонами в чрево хлопкопрядильной фабрики, где сотни станков пряли из неё пряжу, пряжу снова грузили в вагоны и отправляли в далекий город Иваново, где из пряжи ткали ткани... Всё было логично.

Но мне пока дела не было ни до какой логики. Я играл с Шариком, белой, пушистой собакой меньше южнорусской овчарки, но намного больше любой болонки, бегал от удивительной, ни на что не похожей прохлады комнаты, скрытой в ярко-белёном доме, в тесно сгрудившимся своей сотней домов Рабочем городке, бегал от удивительной прохлады комнаты в залитый солнцем двор, ровный своим молочным бетоном квадратик. Ходил вместе с родителями в дом бабушки Тони и деда Васи, где было целых три прохладных комнаты. Я начинал помнить себя...

Мое первое очень серьезное, сущностное потрясение связано с Пушкиным. Вернее, с тем, что ещё кого-то зовут Олег... Баба Тоня была больна астмой. Она была учитель-словесник по образованию, но практически никогда не работала – и потому, что всю жизнь страдала грудной жабой, и потому что родила и растила троих детей, один – дядя Виталий ослеп в 9 лет, ударился головой о лёд в каких-то зимних, недолгих в Киргизии детских зимних шалостях... Баба Тоня очень любила литературу, дед Вася, экономист огромного Фрунзенского мелькомбината, он работал на нём и много после того, как вышел на пенсию, – тоже всю жизнь любил литературу. У них было множество книг. Некоторые редкие. Дореволюционные издания...

Однажды бабушка сказала, что мне нужно немного остановиться в бесконечном бегании по двору, по улице, по комнатам, что кроме собак, – меня любили, кроме Шарика, кажется, все собаки Рабочего городка, что кроме собак, голубей дяди Стасика, которых я просто обо-жал, одним словом, кроме того, что я до сих пор узнал, есть ещё одна удивительнейшая вещь. «Какая?» – с готовностью к открытию спросил я. А вот посмотри, – и она достала с полки большую белую книгу. Я очень хорошо помню, хотя мне было всего три года, недавно было то 18 июля, когда мне исполнилось три года, – я очень хорошо помню: книга формата чуть больше обычного, белого цвета, но не ослепительно белого, а я бы сказал, такого спокойно-мудрого, глубокого белого цвета, матовая, кажется, чуть-чуть шершавая обложка, на ней барельефом, выпирающим кружком неясные очертания какого-то лица, золотистые глубокомысленной вязи буквы имени. Страницы чуть пожелтевшие; ребром, когда они вместе, – потемневшие, и не совсем ровный строй этих страниц, когда они вместе...

Бабушка начала читать.

Как ныне собирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам.
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам...

Вы можете мне не поверить, и я почти точно знаю, что не поверите, знаю почти наверняка (хотя вовсе уж *наверняка* ничего не бывает: *наверняка* – одно из наречий Бога), но никогда, слышите, никогда – ни тогда, когда я чуть ли не с пеленок ходил в детский сад, бегал по улицам Рабочего городка, потом Пятого микрорайона, ходил в школу с первого по десятый класс, – никогда до тех пор, пока я не вышел из стен школы, у меня не было рядом в жизни ни одного тезки, ни одного другого Олега!.. А тут я слышу: «Как ныне собирается вещий Олег»... И хотя там есть слово «вещий», и для меня, трехлетнего малыша, слово «вещий» ничего не значит, вернее, я уже знаю, что есть фамилии и воспринимаю Вещий чем-то вроде фамилии, – но я тут же, сущностно, всем нутром своим понимаю, что этот Олег – не я. Что это какой-то другой Олег. А если есть какие-то другие Олеги, значит, мир мне не принадлежит. Не мои эти голуби дяди Стаси, и сам дядя Стас, и Шарик, и тенистый, тесный сад бабы Тони, и баба Тоня тоже не моя, вернее, не только моя, и даже папа Коля и мама Клара тоже не только мои... Не мои, не мои, да? Так вот вы как значит! Тогда, тогда... Я уйду! Я соберусь и уйду от вас далеко-далеко! Даже дальше Рабочего городка, дальше ипподрома, даже дальше Пишпека! Я насовсем, совсем, от всех вас уйду... И я начинаю плакать, сначала беззвучно, одними теплыми глазами, потом слезами, потом голосом, потом реву, реву, реву без остановки, как в ту ночь, когда я начал болеть пневмонией в поезде «Свердловск – Пермь», когда мама выпрастывала из кофточки свою навсегда красивую грудь, но не могла меня успокоить, а все только смотрели, с накипающей даже на грудного младенца злостью смотрели: «Ну чего он всё время орет?»...

Я не помню, как, каким образом тогда баба Тоня смогла меня успокоить...

К своим четырем годам я уже слабо различал, где я на самом деле живу – у мамы с папой в комнате тетишурино и дядиурино дома, у бабы Тони и деда Васи с дядей Стасей – или в детском саду, куда меня водили упрямо, настойчиво, несмотря на то, что в этом не было никакой необходимости, ведь, когда родители на работе, за мной всегда было кому присмотреть, к тому же мама, ровно в тот день, когда мне исполнилось четыре года, 18 июля, родила, как мне говорили, сестренку, – я то видел только конвертик тряпок и иногда сморщенное, страшненькое личико, – то есть мама опять была в отпуске по уходу за ребенком, а их к 1967 году увеличили с полугода аж до года, то есть не было никакой необходимости в детском саду, не было. Но так уж повелось в Советском Союзе к этим самым шестидесятым годам, что культ общественности перестал быть культом, а стал чем-то самим собой разумеющимся. И, скажем, нужны были очень веские основания родителям, причем перед самими своими личностями, а не перед кем-то ещё, чтобы не приучать своих детей к коллективу, не водить в детский сад. У моих таких оснований не было. Поэтому меня, несмотря на то, что за мной всегда было кому присмотреть, спокойно ежеутренне, кроме суббот-воскресений, а еще лета – водили в детский сад...

Конечно, это был детский сад хлопкопрядильной фабрики: отец там уже давно не работал, не работал и учителем в школе, а стал корреспондентом редакции общественно-политического вещания, так тогда назывались службы информации, – учреждения с названием, похожим на поезд – Киргостелерадиокомитета, проще говоря, на Киргизском радио. Конечно, тогда русская редакция этого радио была основной, а киргизская – чем-то вроде туземно-фольклорного придатка...

Но мне тогда не было никакого дела до этих тонкостей, мне вообще всё равно было, где работает отец, потому что я ходил в детский сад. Уже в среднюю группу. И сидеть мне в ней предстояло еще целый год. Потом – в пять лет – старшая, в шесть – подготовительная, а далее – по всем строгим законам советского социального жанра – в семь и только в семь начиналось большое школьное плавание...

Уже в «лягушатнике» детского сада кое-чему начинали учить, были какие-то занятия, но совсем не серьезные, какие-то рисунки, лепки из пластилина, аппликации, песни-танцы...

Читать в детском саду не учили. И не учили играть в футбол. Этим двум вещам я, к своим четырем годам, выучился самостоятельно...

Меня всю жизнь преследуют какие-то странные ассоциации, и, скажем, детский сад хлопкопрядильной фабрики, вернее, его игровую площадку я начинаю вспоминать почти тотчас, как только заиграет опера Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». Точнее, не вся опера, а только увертюра. Помните? «Та-ли-та-ти-та-та-там! Та-ли-та-ти-та-та-там!..» Я понимаю, почему. От этой увертюры – прямая ассоциация к «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом». Потом – ко всем этим ровненьким песочницам и беседочкам игровой площадки. Потом – понастроил в песочнице с помощью пластмассовых формочек домишек, порой причудливых, в несколько этажей, – и на-а по этим домикам лопаточкой! «Загорелся Кошкин дом»!.. А еще наша старшая воспитательница была из той породы женщин, у которых круглое лицо и – к их несчастью, а может быть и счастью, – над их резко очерченными губами пробивается какое-то неуловимое подобие усиков... Ах, какой бедлам мы иногда устраивали в доме нашей бедной воспитательницы! «Тили-бом, тили-бом!» А заводилами, конечно, были мы с моим тогдашним лучшим другом Юркой, полноватым добрым малым, которого на детских утренниках наряжали не иначе, как медвежонком. Как-то завезли новые матрацы, и почему-то именно из-за этого всем – старшей воспитательнице, младшей – юной, худенькой татарочке, нянечкам, всем – пришлось отлучиться. Свобода! Все опешили. Никогда такого не было, чтобы в большой зале с кучей всяких столиков, стульчиков, полок с игрушками, ковриков, больших окон, занавесок, дверей в спальню, – никогда такого не было, чтобы в этой большой комнате рядом с нами, со всей средней группой не было ни одного взрослого!.. И тут мы с Юркой, не сговариваясь, каждый уронил на пол по стульчику. Они упали как-то мягко, маленькие стульчики, маленькими спинками на большой ковер... Но это было сигналом! Это было залпом «Авроры»! На пол полетели маленькими своими спинками все стульчики в зале! Игрушки слетели со своих полок, ими кидались, визжа, два десятка ненасытных в своей жажде жизни детей, вот уже упала со старческим вздохом заслуженная ваза с фальшивыми цветами с самой верхней полки самого высокого шкафчика, сухие таблетки акварельных красок выскочили из своих упаковок, их топтали десятки детских ножек, полетели по зале какие-то белые и разноцветные бумажки, весь мир исполнился неопишуемой живости и движения, и вот уже Юрка в позе Ленина на броневику стоял, как у Финляндского вокзала, возле дверей спальни, призывая завершить начатое дело... как появилась наша бедная старшая воспитательница. Все разом успокоились, но никто не знал, что делать. Она не могла разрыдаться, мы – не хотели... Пришла заведующая детским садом... Это она, когда я поцелую Таньку с белыми косичками и скажу, что теперь мы должны пожениться, уведет меня в свой отнюдь не игрушечный кабинет и будет долго, как взрослому, говорить, что мои чувства понятны, это вообще свойственно молодости, но пока, Олег, ты очень мал, вам нужно подрасти и стать как твой папа, а Тане – как твоя мама. И тогда, да, я не спорю, вы можете целоваться и даже пожениться. Но, я повторяю, Олег, пока вы очень малы... Тогда пришла заведующая и что-то долго, битый час, нам, несмысленным малышам, как взрослым, выговаривала... Последовало и наказание. Мы были лишены мячей. Вообще всех наших любимых резиновых мячей, которыми мы так любили играть во что-то вроде футбола на прогулках... В эту прогулку мы вышли без мячей, и тут, кажется, Серега, стал катать по беседке простой камень-голыш, величиной, наверное, с куриное яйцо, да нет, меньше. В одиночестве Серега был не долго. Скоро на этот камень-голыш накинудся я, Юрка, Васёк, Лёха – и пошло и поехало, однажды этот камень так угодил мне по коленке, что в другое время я заорал бы в свою иерихонскую трубу, но здесь было другое дело, здесь не было ничего, кроме жажды удара, жажды мяча: мне, мне, мне, мой...

Читать в детском саду, тем более средней группе не учили, но в тот момент, когда я, после прочитанного бабушкой Пушкинского «Вещего Олега» всем своим нутром почувствовал, что есть на свете и другой – недостижимо другой Олег, и стал знать, что мир мне не принадлежит,

вернее, он принадлежит не только мне, и я всегда, всю жизнь буду делить своё и только своё с другими, – в тот момент я твердо решил выучиться читать, чтобы попробовать такую вещь: а может быть, в том мире, мире букв, всё устроено иначе? Может быть, там есть моё и только моё, которое ни с кем, никогда не придется делить?..

Я приставал ко всем вечно занятым взрослым: «А это какая буква? А это какая буква?» – вначале держа в руке какой-то кусок рваной газеты с большими буквами какого-то оторванного на полуслове заголовка, потом стал карябать буквы огрызком карандаша на полях тех же кусков газет. «А это какая буква? А это какая буква?» Дядя Стасик – лаборант охотоведческой секции Киргизской академии наук, маленький, в больших очках с ужасно толстыми стеклами, но по молодости и особенностям натуры живой, как ртуть, вечно занятый: чистящий ружье, забивающий пажу в патроны, играющий в волейбол – на камнях дороги возле дома, с мужиками, лишенными на сегодня пива; дед Вася – большой, с лицом патриарха интеллигентской семьи, но тоже вечно занятый: своим виноградом и вечными постройками, достройками, перестройками тесного, но требующего ежедневной заботы хозяйства; баба Тоня – тончайшая, интеллигентнейшая, иссушенная астмой, но живущая в Рабочем городке – тоже вечно была занята: растапливала печку-плиту, варила, готовила, убирала, стирала, приносила яйца из-под кур, взбивала тесто, она была единственный словесник из всех моих многочисленных родственников: из Киргизии – Фрунзе, Токмак; с Урала – Коми-Пермяцкий округ и Пермь; из Сибири – Новосибирская область, Искитим, Кемеровская область, Черепаново; с Северного Кавказа – Орджоникидзе, Ессентуки; из Крыма, Феодосия; из Ленинграда и Москвы, – она была единственный словесник из всех моих многочисленных родственников, но и она не имела возможности сосредоточиться на том, чтобы научить меня читать.

Но всё же на бегу, среди своих занятий, каждый – пусть с некоторым, плохо спрятанным раздражением, – но всё же отвечал мне, какая это буква. И худо-бедно я выучил алфавит.

Как мне удалось, почти самостоятельно (тут уж бабушка мне немного помогала) научиться «сливать буквы», переводить статику восприятия графики в динамику чтения, – я до сих пор не пойму. Но факт остается фактом. Примерно к четвертому своему дню рождения я научился читать...

А это случилось вскоре после того самого четвертого дня рождения... Тем летом я чаще бывал у бабушки, чем где-либо, и этим же летом у них с дедой Васей и Стасиком вечно были какие-то гости... Иногда взрослые не прочь были поэксплуатировать мой дар и показывали гостям, как этот малыш уже спокойно читает... Однажды к деду зашел один из его начальников. Помню только лоснящуюся от пота, самодовольную физиономию и даже пот от рубашки с коротким рукавом, салатного цвета, с жестко вырезанным воротником, – даже запах пота какой-то самодовольный. Степан Ильич, а вы знаете, внук-то уже читает. Да, неужели, а ну поди сюда. Ну возьми, ну вот, хотя бы, ну вот... На свет возникла какая-то открытка, на стороне заполнения которой крупными буквами было выведено в качестве заглавия ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Дядька начальник ткнул привычным указующим перстом в эти буквы и приказал, а ну, прочти-ка... Мне был очень неприятен этот дядька, что он пришел и уселся тут, как хозяин, в нашем доме, в нашем мире, я уже подозревал, что здесь кроется даже не какой-то подвох, а какая-то глубоко спрятанная драма бытия, которая касается не только почему-то виновато смотрящую вокруг себя бабушку, не только не потерявшего всегда степенного своего достоинства деду Васю, но всё же, как-то взглядом выдающего, что это надо просто перетерпеть, я подозревал, что здесь кроется что-то большее, чем минутное расстройство привычного уютного мира, наверное, потому я разволновался. К тому же, как это обычно бывает у детей, я еще путался в последних буквах алфавита, содержащих шипящие – «ч», «ш», «щ»... Мне было очень неприятно докладывать этому дядьке, но на меня почему-то с особой надеждой смотрели бабушка Тоня и дедушка Вася, и я собрался духом и звонко выпалил: «Почтовая картошка!»

Как он заржал! Как победно вкинул к небу свою лоснящуюся физиономию! «Почтовая карто-о-шка... Ха-ха-ха! Карто-о-шка... ха-ха... Умеет. Конечно. Нечего сказать...»

И всем вокруг сказать было больше нечего... Но тогда я понял одну истину. Мы – враги. Мы всегда были и будем врагами. Они будут давить нас, а мы не будем действовать их методами, наше оружие – просто оставаться самими собой. Мы всё равно выше их, лучше, достойнее, потому что умнее, то есть счастливее. Ведь ум – это не знание трех иностранных языков, не способность мгновенно вычислить формулу быстрого мельтешения голубей вокруг кем-то брошенной горсти зерна, ум – это не держание в голове тысячи кем-то когда-то сыгранных шахматных партий. Ум – это слияние предлога «у» с первой буквой словоформы «меня». Из фразы «Вы у меня»... Которую Бог, наверное, говорит довольно многим...

В 1968 году, мне было пять, сестренке Лене годик, мы получили квартиру. Боже, как радостно это было, и в то же время – для меня – как грустно, тревожно, минутами – очень и очень тревожно. Первый раз в своей жизни я покидал обжитой мирок и переходил в другой мир – неведомый, а потому изначально опасный... Из Рабочего городка предстояло переезжать на другую окраину города, с крайнего запада Фрунзе на его крайний восток – в Пятый микрорайон, туда, где упорядоченные некоторым редким лабиринтом, пока без больших деревьев между собой, только с чахлыми саженцами, стояли крупнопанельные, скорые в постройке, неудобные для жилья – летом жарко, зимой холодно – пятиэтажки-«хрущовки», среди них элитно темнели прожаренными кирпичными стенами шестиэтажки, в каждом микрорайоне из Третьего, Четвертого, Пятого, Шестого, Седьмого, а других пока не было, – по детскому саду, покрупнее, чем на старых окраинах, но с чахлыми деревцами, не тесных, не тенистых, не утопающих в сказке, как садик хлопкопрядильной фабрики... В один из них предстояло переходить мне. Рядом с детскими садами микрорайонов стояли одинаковые, типово-типичные кирпичные школы, уголки окон пока еще плохо отмыты от строительных растворов... Единственное, чем манили микрорайоны – свежим ветром с гор и самими горами, к которым город подошел вплотную: очень скоро после многоэтажных коробочек начинались каменные карьеры и за ними сами горы: вначале – большие покатые желтые холмы с редкой щетиной культурно высаженных, редких и чахлых кустов фисташек. Желтые горы в редкую пасмурную погоду или предрассветным утром сбрасывали с себя желтый цвет, темнели свинцом, как тучи, и казались выше, чем есть на самом деле. За грядой желтых следовали зеленые горы, такие как на Кавказе – молодые, бурные, изумрудно-таинственные. Дальше – зубчатой стеной между небом и землей, между родной стороной и загадочным Уйгурским Китаем, между бытием наличным и бытием пред-Божьим, бытием Белых ангелов и Серых демонов стояли горы алмазные... Всегда – в ослепительных алмазных шапках...

В грузовике, уже меньше похожем на «полуторку» времен Отечественной войны, более солидном, более мощном, округлом, более жирно покрашенном черным цветом, в кабине – шофер, мама с сестренкой на коленях и я подле них, в кузове – среди ящиков, коробок, но больше узлов, среди бледно-желтых мебельных досок, – отец, распростерший руки между бортом и этими мебельными досками, – на грузовике, уже меньше похожем на военную полуторку, чем тот, что вез спасать меня от смерти в Юрлу, мы поехали в Пятый микрорайон...

Это было в канун Октябрьских праздников – мне-то всё равно было, какие это праздники, и я не намерен был разгадывать загадку, почему Октябрьские праздники празднуются в ноябре, – в канун Октябрьских праздников детский сад хлопкопрядильной фабрики готовился к утреннику. Я должен был танцевать первую пару с Женькой (поле того, как Танька пожаловалась воспитательницам на мои к ней признания, я вычеркнул её из своей жизни). Мне очень хотелось проститься с детским садиком хлопкопрядильной фабрики именно таким образом. Быть благородным, послушным, галантным. Провести в танце Женьку так, словно мы большие, взрослые, обрученные какой-то тайной. Чтобы всё на утреннике было искристо

и великолепно, но на всём лежало не что иное, как печать прощания. Моего – с прошлой жизнью. Прошлой жизни – со мной... Я нервно даже не просил, а ультимативно заявил маме, что не пойду в новый детский садик, пока не пройдет утренник в старом. Мама уже занимала какой-то небольшой пост, постик на фабрике, её уже прочили в инструкторы райкома партии, она уже стала привыкать к мысли, что всю оставшуюся жизнь ей придется не просто жить и работать, а «решать вопросы». Она взяла меня за руку и пошла представлять новой заведующей нового детского сада... – Понимаете, мы, конечно, готовы именно завтра привести Олега в старшую группу, и вы всё хорошо объяснили, да, да, я вот записала, впрочем, в старом садике тоже были и запасные тапочки, и вот то, что вы говорили, мы это тоже всё учтем, но вот нельзя ли ему ещё недельку походить в старый сад, понимаете, у него там утренник и он там танцует первую пару? – Ну, вы знаете, это всё понятно, и первая пара и всё прочее, но вы тоже нас поймите, вот завтра проверяющий из райотдела придет, вот что я ему скажу, вы ведь тоже ответственный работник, понимаете, вы уже записаны, а потом вы поймите его психологию, здесь серьезная задача, конечно, оставить всё, что было, и начать новое – это всегда трудно, хочется ещё немножко потянуть и не браться пока за ни за какие трудности. Да вы увидите, через недельку он так здесь привыкнет, что ни о каком старом садике и вспоминать не будет, и здесь точно также станцует первую пару. Ну, Олег, станцуешь ведь нам первую пару, а? Знаешь, какие девочки хорошие у нас уже собрались... Я молчал. Новая заведующая, в отличие от старой, не отстранялась за свой отнюдь не игрушечный кабинетный стол, напротив, новая заведующая опустила передо мной, став одного со мной роста, обняла меня за плечи и что-то ласково говорила, но я понимал, что эта ласка из-за того, что это – по сути первое в моей жизни приглашение на казнь, и что таких приглашений в моей жизни, как и в жизни любого человека, будет ещё много-много, и нельзя сказать, что к ним нужно привыкать, потому что к казни привыкнуть нельзя, никогда к ней не привыкнешь, казнь – усеменение если и не всего сердца, то кусочка сердца, а сердце человека не безгранично, как это небо над желтыми, зелеными и алмазными горами с грядой розоватых перистых облаков, сердце человека может выдержать многое и очень многое, но не всё, и рано или поздно оно разорвётся окончательно, и я начинаю плакать, вначале одними теплыми глазами, потом слезами, потом реву, реву, как океанский лайнер, и мама мигом сбрасывает с себя ещё очень чужую для неё маску человека, «который пришел решать вопрос», она снова становится той девочкой, которую везли с больным воспалением лёгких четырехмесячным ребенком из Малого Сулая в Юрлу, на машине, похожей на «полуторку» времен войны, она кружится и кружится надо мной, как ласточка, над выпавшим из гнезда, со сломанным крылом птенцом, а заведующая наоборот прячет свою ласку в большой карман идеально отутюженного и накрахмаленного белого халата, садится за стол со светло-желтой полированной столешницей и ровно разложенными на нём предметами и книгами Льва Толстого, Пушкина, Тургенева, молчит, сверху, отстраненно на меня смотрит, всем своим видом показывая, что приём закончен и начались уже ваши личные проблемы. И я впервые ощущаю, что кроме дядиюриного и тетишурино дома, кроме дома бабы Тони и деды Васи со Стасиком, где целых три прохладных комнаты, кроме нашего ещё не обжитого, но нашего, нашего, нашего дома – двухкомнатной квартиры в Пятом микрорайоне, – я впервые ощущаю, что кроме родного дома, кроме Кошкина дома, есть ещё и казенный дом, больше – много-много казенных домов, и никакой «Тили-бом, тили-бом» казённый дом никогда не разрушит, потому что вслед за одним, даже самым священным и одновременно самым глупым и злым египетским фараоном, – обязательно придет другой фараон – ещё более священный, но одновременно ещё более глупый и злой, и за одной тьмой египетской придет другая – ещё более страшная египетская ночь, и ничего не изменишь, пока не умрешь, а умирать – ещё более страшно, чем жить...

Началась короткая киргизская зима. Папа ходил на работу в свой Киргостелерадиокомитет, приходя домой, иногда с «пятеркой» — продолговатым венгерским магнитофоном «Репортер-5», черно-кожаным, расстегнешь кожаный футляр — интересной серебристой игрушкой, с двумя аккуратными бобинками, спрятанными под крышку с окошком, вес с батарейками — 3,9 килограмма, — приходя домой, всегда включал радио на кухне, но не слушал ничего, кроме новостей, тогда они почему-то трагично назывались «последние новости»... Я ходил в детский сад, как на работу... Мама сидела с Ленкой, — кажется, ещё до того, как сестра начала говорить, я стал звать её не иначе, как Ленка... И всю жизнь звал её Ленка, и письма писал ей: «Здравствуй, Ленка!», и по телефону говорил ей, привет, Ленка, — за исключением тех случаев, когда я звоню ей в Великий Новгород из Хабаровска, в её поликлинику и прошу позвать к телефону заведующую, Елену Николаевну (вот была б умора, если б я хоть раз по многолетней привычке не сказал, а Ленку позовите!). Она никогда не обижалась. Это — наша тайна. Кроме того, ей крепко врезалось в память, что как-то я авторитетно, как студент-филолог МГУ, заявил ей, что в Болгарии, а они, чай, славяне южные, то есть поевропеистей нас, что в Болгарии — суффикс -к- к имени женщины прибавляют как знак особого уважения и ласки, его никакими нашими -очк- не переведешь: Ленка, Наташка, Светка, Галка... — это звучит, и звучит здорово...

В ту зиму я ходил в детский сад Пятого микрорайона, как на работу, и чуть ли не в первый день прихода мне стало невообразимо скучно, все уже перезнакомились и возились в большой зале какими-то кучками, в углу, изящно, нога на ногу, сидела на «взрослом» стуле новая моя старшая воспитательница, всем своим видом показывая: я здесь временно, детки, мне дано много большее, чем вы, — это была блондинка с упругими грудями и очень стройными ногами, носить короткие белые халаты, конечно, не разрешалось, и она часто сидела на стуле, нога на ногу, полы халата послушно приоткрывали больше гладких, тепло-белых ног, она словно репетировала какую-то свою будущую — главную — роль, она сама, может быть, так и не считала, но она запрокидывала голову или неторопливо поправляла прическу, хотя не было никакой необходимости ничего поправлять, или просовывала свой розовый язычок между приоткрытыми зубками и касалась им верхней губки, щеки её при этом слегка сжимались... Эх! Тили-бом, тили-бом, Юрка, друг, где ты? На прогулках здесь никто не играл в футбол — и это было ужаснее всего. Здесь были такие же резиновые мячи — зеленые, а обручем — потолще белая и, сжав её, две тонких красных полоски, но мячами играли в какие-то глупые кидалки руками, — руками, а в футбол, как известно, играют только ногами, а если рука — штрафной...

Ближе к вечеру первого дня я увидел несколько тонких книжек на одном из столиков, позже я узнаю, что это называется «читальный столик» и в обязанности воспитательниц входит брать в заведенное время одну из таких, из серии «Мои первые книжки» — и читать детям вслух. Я взял одну из таких книжек, темно-сиреневого цвета, на обложке нарисован лев и собачка, имя автора — Лев Толстой, раскрыл и начал читать про себя. Ко мне подошла девочка, выше меня ростом, полнее, я бы сказал, видом взрослее и наивно-протяжно спросила, ты что, уже умеешь читать? — Да, — ответил я просто, и, конечно, получил приглашение прочитать вслух. Спиной я почувствовал, как напряглась, как потянулась к этой сценке старшая воспитательница с гладкими ногами, как напряглись складки халата под её грудями, я почувствовал доселе неизвестное, что-то приказывало мне победить, покорить, куда-то во что-то уложить, в какую-то голубую бархатную коробочку, перевязанную вишневым атласным ленточкой, не кого-то, не этих девочек, полнее, выше и, я бы сказал, видом взрослее меня, а именно старшую воспитательницу. Я начал читать.

Я ещё плохо выговаривал букву «р» — я ещё очень наивно и плохо акцентировал фразовое ударение, не мог легко перестроиться в чтении с монолога на диалог, но я уже читал экспрессионистски, то есть с выражением, я большими мазками клал краски на главные фигуры речи, ставя второстепенное только в качестве подпорок и фона главным фигурам того мирка, что я хотел выразить... Но именно в этом рассказе, в этой сопливо-наивной фантазии странного

русского деда, в рассказе «Лев и собачка» нужно было именно такое чтение – сопливо-наивное, чтобы пробуравить, прочистить какое-то тонкое отверстие, что имеется в любом, даже самом черством сердце, что уж тут говорить о сердцах мягких, о детских сердцах и о сердце девушки-девчонки со светлыми волосами и длинными гладкими ногами, что витала в своих пушистых облаках с девяти утра до шести вечера, в детском саду, в Пятом, ещё пахнущем строительными растворами микрорайоне?..

Я закончил. Оглянулся. Вокруг меня стояли коротко стриженные или с тугими косичками головки. Все стояли притихшие, взволнованные. Над ними – симпатичная воспитательница в белом халате, блондинистая. Очень четко на её бледном лице, возле глаз проступала размазанная слезами тушь... Я ещё не умел формулировать свои мысли и ощущения, но сейчас я понимаю, что у меня было чувство именно победителя. Всё! Сделано! Я уложил её в бархатную коробочку, перевязанную вишневой атласной ленточкой! Больше мне здесь нечего делать – беру портфель, иду домой...

У меня было ощущение, что я уложил всё-таки её в коробочку, перевязанную шелковой ленточкой, хотя я был совсем малыш, мне было всего пять с хвостиком лет, но кто знает, когда Бог приказывает ангелам не держать больше малыша под сенью своих крыльев – иди сам, трудно, бесы вокруг, но сам иди... Конечно, я ошибался тогда. Никого никуда я не укладывал... Она по-настоящему заплакала, понимаешь, по-настоящему! Она просто пробудилась от какого-то своего сна, и это её странный русский дед разбудил, Лев Толстой. Эта книжка совсем недавно лежала на «читальном столике», и она ни разу её своим малышам не читала. Она вообще никогда её не читала! Понимаешь?..

Я уже не мечтал, как тогда, когда ходил в детский сад хлопкопрядильной фабрики, стать капитаном милиции – именно капитаном, просто милиционеры мне уже тогда в чем-то казались очень подозрительными, другое дело – капитан! Я уже не мечтал стать космонавтом. Наверное, я перестал мечтать стать космонавтом тогда... кажется, это было тогда, когда мы делали пересадку на автобус в Верецагино в очередной поездке на Урал, – когда взрослые – отец, какой-то дядька попутчик рядом – на автостанции Верецагино заговорили об ужасной участи космонавтов Волкова и ещё кого-то, я забыл, которые задохнулись в разгерметизированном узком, тесном пространстве кабины космического корабля. Я уже тогда боялся – до ужаса, до паники в душе – смерти, боялся смерти во всех, в любых её проявлениях. Это паническое чувство страха смерти будет преследовать меня всю жизнь... Я не смел себе представить – пятилетний человечек, окруженный всяческой заботой, здоровенький, полный фантазий, – я даже не смел себе представить, как они умирали, но какие-то черные представления, независимо от моей слабенькой воли, всё равно лезли мне в голову, – как это могло быть. Как три или два человека, нет, кажется, их было трое, замечают, что они не просто беспечно летают в невесомости в тесных пространствах своей космической кабины-комнатки, они замечают, что дышат, а самое страшное, что дышать с каждой минутой становится всё труднее и труднее, и ничего не сделаешь, надо умирать, – это ведь не поездка на «Москвиче», у которого спустила шина, за город. Выкатил «запаску» из багажника, поднял домкратом днище автомобиля, раскрутил болты у старого колеса, заменил на новое, потуже закрутил – и дальше, вперед... Второй «запаски», второй жизни у человека не бывает. Это я уже очень хорошо знал, мне было очень тяжело в то лето, я почему-то часто возвращался мыслями к погибшим космонавтам...

А осенью меня отвели в новый, в Пятом микрорайоне детский сад. А зимой я довольно много читал и даже начал писать стихи. Темы были навеяны книгами и только книгами. Бабушка дала мне прочесть «Робинзона Крузо» Даниеля Дефо, плотный томик с чудесной графикой. Как сейчас помню: вот одетый в звериные шкуры с каким-то странным зонтом, с большой котомкой за плечами человек, заросший волосищами, огромной бородой, идет куда-то вперед, берегом океана, взгляд полубезумный... Вот страшная картинка: здесь из пещеры

выглядывает какое-то глазастое чудовище, и лишь присмотревшись можно едва угадать того старого-престарого вожака козьей стаи, что забрался умирать в каменную пещеру. Вот дикари привезли убивать и съедать пленника, потом Робинзон освободит его и назовёт Пятницей... Вот, наконец, – Боже, как неуместно здесь это слово – «наконец», здесь вообще никакие слова не могут быть уместными. Вот – корабль... Я навсегда был очарован этой книгой, этой темой. Мне до сих пор кажется, что нигде так, как на необитаемом острове, не был счастлив Робинзон, и при всём при этом, – вот она неразрешимая тайна, неразрешимый парадокс жизни, – нигде никогда так близко не бывает человек к смерти, как в состоянии полного одиночества... Я писал настолько корявые стихи, что их очень трудно сейчас воспроизвести. Единственное, что помню: как-то я прочитал чудесную книгу под названием «Это – хоккей!», там было всё о победах нашей славной сборной по хоккею на чемпионатах мира и Европы, множество фото – вратари Синельников, Пучков, Третьяк; непродолимый защитник Рагулин, знаменитейшие Михайлов, Петров, Харламов, ещё юный Мальцев, там были Старшинов и братья Майоровы, Якушев... Там был рассказ и о зарубежных великих игроках – о Ришаре, например. Там были рассказы, и даже юморески, о хоккее. Я так же, как отец, как он ни гнал меня от экрана, сиживал ночи напролет, когда шел чемпионат мира по хоккею. Наши трудно и заслужено, драматично и не без разочарований, но всё-таки всегда побеждали... Это было неотвратимо, как весна в конце календарной зимы в сером, сером, сыром, а потом вдруг раз – в неделю, как раз после 23 февраля, – весна – в городе Фрунзе... Как-то я в изнеможении от этого удовольствия от чтения, от этой неги чтения, схватил простенькую двадцатикопеечную шариковую ручку, вырвал листок бумаги из какой-то тетрадки и набросал на нём что-то вроде: «Михайлов и Харламов, Ришар и Петров – // Как много в этом мире прекрасных игроков!» Мамы дома не было, она уже работала инструктором в райкоме партии, приезжала с работы с противоположного конца города в наш Пятый микрорайон позднее отца на несколько часов. Отец был с другом-журналистом. К нему тогда часто ходили друзья-знакомые, не обходилось без алкоголя. Но мне было всё равно, один отец или нет и в каком он сейчас состоянии, я прибежал на тесную кухню, своими горящими глазами, хватанием за рукава и одного и другого заставил обратить на себя внимание, я декламировал свои «стихи» звучно, старался басисто, выходило – визгливо: «Михайлов и Харламов, Ришар и Петров – // Как много в этом мире прекрасных игроков!» Мне улыбались, что-то говорили, но я то понимал, что от меня отмахивались, как от назойливой мухи, мной жертвовали, моим прекрасным порывом жертвовали в пользу этой вонючей, желтой недопитой бутылки пива... Я убежал к себе, мне не хотелось плакать, мне захотелось спать...

Я был очень отходчивый, уже на следующий день я всё забыл, не было никакой обиды на отца, ничего не было, и стишков этих не было. Я ещё вечером порвал на клочки ту бумажку: правое, творческое моё полушарие ещё вечером успело остыть, а левой рациональной половиной своего маленького мозга я быстро увидел, как противно-наивно то, что я накарывал... Потекла дальше серая влажная малоснежная киргизская зима... Я ходил в детский сад, как на работу, по вечерам читал (телевизор вообще не смотрел, кроме редких ночных хоккеев), редко ходил на улицу, потому что ребята в нашем подъезде подобрались как-то все постарше меня, меня никто не обижал, но их игры – снежные крепости (когда лежал всё-таки настоящий снег, а не мокрая белая каша), кидание снежками (в лицо залепит – о-ё-йой!), какие-то полувзрослые для меня – детсадовца – полувзрослые разговоры второ- и третьеклассников мне были непонятны, неинтересны («Знаешь, почему, если он уже укусил печенье, тебе потом есть его нельзя, а? Потому что у тебя свои слюни, а у него другие, понял, да?») ... Та зима, когда мне было пять с половиной лет, протекла бы вовсе незаметно для моей жизни, если бы мы с отцом не поехали как-то черным вечером в Четвертый микрорайон, он вез меня на санках, – та зима протекла бы вовсе незаметно, если бы я не увидел Экзистенцию. Я ещё не знал этого слова, но именно тогда я увидел Её...

С одного из боков Четвертого и Пятого микрорайонов, если встать лицом к горам – слева, шла объездная автомобильная дорога, сразу за ней – небольшая полоса земли, в мае здесь на малахитовой траве в шестидесятых-семидесятых годах ещё расцветали маки, потом их все, с корнями, повыдергивали; а дальше простирались каменные барханы, что обрывались, опять же большими округлыми камнями, в высохшее русло реки Ала-Арча, широкое, метров в семьдесят ширины. Это каменное высохшее русло (воду забирало стоящее в предгорье водохранилище, в свою очередь отдававшее воду на совхозные поля), это высохшее русло тем не менее называлось на местном языке – Речка, а за речкой, можно и так: Заречкой оградой вставала аллея крепких желудистых дубков, и вслед за этой аллеей лежал Ботанический сад – с множеством асфальтовых дорожек, кустами боярышника, фисташковыми деревцами, липами, ивами, березовыми маленькими рошицами, еловыми и сосновыми островками, – Ботанический сад оканчивался стеной зарослей джигирды с острыми иголочками, впрочем, в этих зарослях можно было найти лаз и тогда ты выходил на дорогу к ближним к крайнему востоку от Фрунзе селам и предгорным дачам... Но всё это будет весной, летом, осенью, всё это будет, будет, будет, и немало ярких лучистых, и темных сумеречных минут и часов моей жизни пройдут в Ботаническом саду, но это будет весной, летом и осенью. А сейчас была зима, тот короткий период киргизской зимы, остро-холодный, с ветром, колючим скрипучим снегом, в контраст со всем другим, подавляюще другим теплым климатом здешних мест – пронизывающе-холодный период местной зимы между прошедшим Новым годом и серединой февраля, – был тот короткий период киргизской зимы, когда по-настоящему холодно и в теплых шубе, шапке, рукавицах – непривычно, тесно, и куда-то прячется не что-нибудь, а смысл жизни...

Отец ходил в Четвертый микрорайон, к знакомому – Петру Пухову, журналисту-фотографу, ходил по делу, на несколько минут, а меня взял, чтобы я подышал свежим воздухом, как мама не возражала, сам обрядил меня в шубу, шапку, рукавицы, подстелил одеяльце на деревянные рейки детских санок с алюминиевой округлой спинкой, усадил меня, и мы поехали в Четвертый микрорайон по тротуару напротив объездной вокруг микрорайонов автодороги, высохшего русла реки Ала-Арча и Ботанического сада...

Поскрипывал снег в такт шагам отца – он шел быстро. Слева от меня – мы шли вниз, спиной к горам – жизнерадостно и посмеиваясь над запоздалыми путниками, вразброс горели окна в домах-пятиэтажках. А справа – Боже мой! – справа нависла над миром холодная чернота, Экзистенция! Я ещё не знал этого слова, но я сразу же понял, что это именно она. Она, медленно и отстраненно жуя своими всегда здоровыми челюстями, медленно и лениво, но верно, *наверняка*, сожрала недавно и Ботанический сад с его деревьями, кустами, травой, асфальтовыми дорожками и стеной джигирды с иголками, она проглотила, не поморщившись, все километры высохшего русла реки Ала-Арча с миллиардом спокойно лежащих сотни, а может быть, и тысячи лет больших округлых камней, это она – холодная черная Экзистенция – зачеркнула бытие во мне детского садика хлопкопрядильной фабрики и не позволила танцевать первую пару с девочкой Таней, маленькой, единственной из всех девочек пышноволосой, немного кудрявой, это Она выпустила весь воздух из космического корабля и заставила принять страшную смерть космонавта Волкова, это она одним плевком сделала скользкой, сделала убийцей высокогорную дорогу Фрунзе-Ош и сын дяди Юры, всё-таки один-единственный раз решивший поехать в Ош на большой, похожей на добрую лягушку «Победу», на крутом повороте пошел юзом, лихорадочно, неуклюже цепляясь за жизнь, тормозил, – и под жадный грохот камней сорвался в пропасть, превратившись в безобразные ошметки грязно-кровяных кусков человеческой мертвой плоти, эта нависшая над всем миром, холодно-равнодушная к этому миру и к человеку Экзистенция угрожала мне жизнью всегда рядом с собой, каждый миг рядом с собой... Она была величава, она была больше, чем мир, больше, чем жизнь... Никогда после того вечера я не видел её так близко, так зримо, лишь её холодное дыхание, резкими, всегда

внезапными порывами с того вечера бьет в борта моего углого суденышка, на котором я плыву, год за годом плыву неизвестно куда...

А потом была весна, и было много событий. У нас поменялась старшая воспитательница. Говорили, что прежняя ушла играть в театр. Всех почему-то это очень смешило. Я уже бывал в кукольном театре и, по крайней мере, приблизительно представлял, что это такое – театр. А многие дети из нашей группы никогда ни в каком театре не были, для них ключевым словом было «играть». Их веселило представление о том, как «белобрысая» – ах, жестокие, жестокие дети! – за глаза эту симпатичную добрую девушку звали «белобрысая», – их веселило представление о том, как наша молчаливая и рассеянная воспитательница теперь играет где-то в куклы – в куклы, во что же ещё не старая тетя может где-то играть?..

Новая воспитательница была улыбочива, очень по началу со всеми обходительна. Потом она под разными предлогами и в разных обстоятельствах поговорила с каждым воспитанником тет-а-тет. Со мной она разговаривала на прогулке, когда я, устав от глупой беготни по двору, без футбола, без серьезных, в общем, занятий, сел глубоко на скамейку и глубоко погрузил руки в карманы штанишек, опустил голову. Эта поза означала у меня тогда своеобразную медитацию. Я просто сидел, ни о чем не думал, ни о чем не мечтал и ждал, что в моей жизни будет дальше.

Новая воспитательница, как всегда улыбаясь, она даже отчитывая, ругая кого-нибудь, улыбалась, – подошла ко мне, присела на краешек скамейки, спросила, Олежек, а ты почему не играешь со всеми? – Не знаю, устал. – Послушай, Олег, у меня в тетрадке написано, что твоя мама – инструктор райкома партии, а много у неё подчиненных? – Кого, кого? – Ну, тех, кому она поручения какие-то дает, задания, просит что-то сделать? – Не знаю, по-моему, она самая подчиненная, она, когда приходит домой, все время рассказывает, как её все просят что-то сделать и она всё делает и делает, и домой приходит поздно вечером, а папа ужин готовит. – А папа, кстати, у тебя написано, что журналист, а где он работает, в какой газете?

Я уже более пристально наблюдал над отцом и видел, что по телефону, который нам недавно установили, он звонит не только к себе на работу, но и в Москву, и чувствуется, что это более важно – звонить в Москву, чем к себе на работу. Ещё он звонил в Ташкент и всегда говорил одну фразу: «Девушка, примите информацию». Он любил говорить о своей работе. Его звонки в Москву означали, что он иногда стал «давать информацию» на «Маяк». О, да! Я уже знал, что такое «Маяк»! Каждые полчаса, они на этом радио заводили такую маленькую музыку, и я даже сочинил к ним стишки, чтобы получилась маленькая песенка. Вот она: «Полупалу, Вити, двена-а-а-дцать часов!» Ещё папа много писал в газеты, в основном в «Вечерку». Отец очень любил «Вечерку», а там любили его. Еще у него было много друзей из какого-то загадочного КИРТАГа. А самый лучший друг носил веселое имя Цуркан. Почему-то они очень часто стали ругаться с мамой из-за этого загадочного Цуркана. Особенно по утрам, когда папа вставал смурый, злой и пил много крепкого чая... Была ещё какая-то холодная и недоступная газета «Совкиргизия», отец очень не любил эту «Совкиргизию», жаловался, что никогда не поймешь, что им надо, однажды ему отказали в публикации какого-то материала, сославшись на то, что «слишком хорошо написано». Он сидел с очередным другом, вечером, пока мамы ещё нет, они пили не пиво, а разносящее по комнате резкие неприятные запахи грязно-красное вино, и отец жаловался очередному своему другу, нет, ты представляешь, этот Иваныч из отдела информации говорит, Николай, слишком хорошо для информации написано, таким слогом очерки писать и то не всем, а Василию Пескову про своих птичек. А у нас партийная газета и стандартные сорок строк для информации, – строже, Петрович, строже!.. И отец наливал по новой... А однажды он забирал меня из детского сада в очень приподнятом настроении и, не успели мы немного отойти от детсадовского забора, стал делиться со мной своей радостью: а меня на радио переводят из корреспондентов сразу в старшие редакторы, я ведь теперь

кандидат в члены партии. Скоро членом буду. – А что такое старшие редакторы? – Ну, это то же самое, что было, так же буду информашки делать, только получать буду больше. – Сколько? – Двести рублей... Вот такой мужской скупой разговор... Так что когда новая воспитательница спросила, где работает твой папа, я знал, что ответить. Я сказал, что в основном он работает на радио, старшим редактором, но ещё он всё время пишет в газеты. – А в какие газеты? – не унималась воспитательница. – Ну, в «Вечерку», в «Совкиргизию»... и в «Правду», – зачем-то соврал я. Я знал, что отец никогда не писал ни в какую «Правду», потому что редакции «Правды» во Фрунзе нет, потому что, как говорит папа, это – центральная газета. Значит, она где-то в загадочном Центре. Но я даже не соврал в полном смысле слова. У меня появилась такая привычка, что ли, немного добавлять к жизни, к её сухим предикатам немного ярких, экспрессивных наречий и распространять эти предикаты на несколько больший ряд объектов, чем есть на самом деле. Наверное, это происходило потому, что мне было всего около шести лет, а я уже много читал. Нет, я не лгал – я так видел жизнь... «И в «Правду», – добавил я. – В «Пра-а-вду»! – уважительно протянула воспитательница. С того дня – я заметил, я сразу заметил – она стала со мной особо обходительна...

Той же весной мы переехали в новую квартиру. Потом был такой период, когда мама с папой будут ругаться особенно сильно, она будет говорить, что она и первую квартиру сделала и со второй договорилась, а он всё время прячется за моей спиной и ничего сам сделать не может. А отец говорил, что если бы не его пятьсот рублей, и вообще не его заработки, а ты попробуй хоть сотню лишнюю заработать, когда тебе всего два рубля за информашку платят, он говорил, что если бы не его пятьсот рублей, которые он с таким трудом накопил, отложил, а ещё за переезд, а ещё поили прежних жильцов сколько... – Ага, поили, да тебе только это и надо было!.. У меня страшно болела голова от этих ссор, в затылок добивало холодное черное дыхание царства Экзистенции...

Мы переехали в новую квартиру, и переезжать было весело. В начале, ещё до того, как приехал грузовик-фургон за большими вещами, мы носили вещи поменьше к новому дому, он был здесь же, в Пятом микрорайоне, правда, на другом его конце, на границе с Четвертым микрорайоном, и идти было всего пять-семь минут, но идти было почему-то радостно, весело, и я хватался за большие узлы и мама делала страшные глаза и говорила: а ну, оставь, надорвешься, – но я не слушался, хлопал дверью и бежал вслед за отцом, который уже нес вниз по лестнице что-то большое на плечах... Новая квартира была уже не двух, а трехкомнатная, значит, нам с Ленкой полагалась как бы своя собственная комната, только жаль, что окнами она выходила во двор, а ту комнату, что выходила окнами на дорогу, русло реки и Ботанический сад, впрочем, мы никогда так не говорили, мы говорили «окнами на Заречку», – жаль, что комнату с самым лучшим видом родители забрали себе под спальню, но мне не возбранялось, придя из детского сада, вставать у этого окна на Заречку и стоять, стоять возле него и ждать сладко подкатывающего ощущения, что когда-то я туда, за Речку, Заречку, – уеду, и там будет какая-то особенная жизнь, что-то доселе неизведанное никем, а только мной, только мной...

И ещё той весной женился дядя Слава, как его чаще всего называли в семье – даже потом постаревшего – Стасик. Он женился в мае. И как ни опасно было жениться в мае, говорили ведь в народе: в мае женишься – всю жизнь маяться будешь, но он женился в мае, по двум важным обстоятельствам. О первом я тогда не знал, но полноватая, выше Стасика, но с добрым, открытым русским лицом девушка из города Пржевальского, что на самом лучшем, самом в мире чистом и красивом озере Иссык-Куль, к маю была уже на четвертом месяце беременности, и отказываться от неё, отправлять с маленькой сухонькой, безграмотной и набожной матерью назад на Иссык-Куль было бы очень нехорошо. Если отправить – маяться всю жизнь уж точно, *наверняка* маяться. К тому же в мае, 9 мая у деда Васи – день рождения. Волшебно совпавший с Днем Победы, которую старший сержант Фолин, так же как и миллионы других солдат, добыл в сорок пятом. День рожденья деда Васи всегда в семье проводился сказочно

торжественно. Приходили все. Не только близкие родственники, но даже двоюродные и троюродные племянники деда Васи, в доме, а чаще во дворе накрывались столы с белой скатертью. Было много сделанного дедой Васей ещё в прошлом или даже в позапрошлом году хорошего виноградного вина, десяти- и двадцатилитровые бутылки были покрыты толстым слоем пыли и запаяны красным почтовым сургучом. Дядя Виталий, слепой, всегда в черных очках, но всегда жизнерадостный играл на аккордеоне: несмотря на свою инвалидность, он окончил среднюю и музыкальную школу, потом дневное отделение истфака, работал учителем, всегда в одной из лучших – Шестидесят третьей – школе города Фрунзе учителем истории, он одним из лучших учителей был, сколько он консультировал абитуриентов, и все если даже и не поступали, то прекрасно сдавали историю на вступительных экзаменах... Старший ребенок дяди Виталия и тети Маши – она была слабовидящая, водила дядю Виталия под руку, очень подслеповато сощурившись, но что-то она видела, она тоже истфак окончила, – старший ребенок дяди Виталия и тети Маши – Лёнька был моим старшим братом, даром, что двоюродным, потому что он одновременно был и моим лучшим другом. Он, конечно, тоже всегда бывал на дне рождения деда Васи, которое удивительным образом совпало с Днем Победы, и это была и дедва Васи Победа, потому что он воевал всю войну артиллеристом, как говорил, его взяли в группу баллистиков батареи тяжелой артиллерии, потому что он очень хорошо знал математику, а тогда редко можно было найти человека, который призывался на фронт рядовым и хорошо знал математику...

Свадьбу дяди Славы и тети Жени приурочили к 9 Мая – дню Победы и дню рождения деда Васи. Столы стояли и в доме, и во дворе и даже на улице, возле дома, напротив палисадника и открытой калитки во двор. Молодые приехали на белом с пашечками такси, но на крыше – скрепленные золотые кольца, на капоте – кукла с большими глазами, вся машина в лентах и цветах. Следом ещё одно такси с друзьями Стасика, в основном такими же бесшабашными охотниками, как он сам, дядя Слава говорил: «Охотник – значит, хороший человек», и с подругами тети Жени, как и она, окончившими техникум связи... Во дворе, спрятавшись под окном, выходящим в закоулок между сараем и стеной кухни, спрятался бочонок с пивом, стоящий на табуретке. В бочонке был кран... Меня сразу заинтриговал этот бочонок, его призывающий к какому-то веселому грешку, бесшабашному приключению крутой бок, этот сверкающий металлом краник...

Молодым кричали: «Горько!» Больше всех старался дядя Паша, двоюродный брат деда, совсем молодой по сравнению с дедом Васей, худой, всегда веселый, я видел его на днях рождения деда, редко, но он заходил и просто так, когда я гостил у бабы Тони и деда Васи, – он мне всегда нравился. Он не учил, как по привычке всегда учил чему-то любых попавшихся ему под руку детей дядя Виталий, он не был постоянно так занят собой, как всегда бывал занят собой дядя Стасик, к тому же, как только чуть-чуть подросла Ленка, я стал сильно Дядю Стасю ревновать к сестре, как завидит её, давай тотчас: «Лёка-дудока! Лёка-дудока! Ой, посмотрите, кто пришел! Лёка-дудока к нам пришла! Как дела, Лёка-дудока? Дай ручку свою золотую!»

Я носился с улицы в комнаты, из комнат во дворик перед домом, во двор за домом, пробегая по узким бетонированным дорожкам, наталкивался на взрослых, всем мешал, я старался не пропустить ни одного «Горько!», это было потешно, как тетя Женя, откидывала фату и закрывала глаза, а дядя Стасик приподнимал правой рукой свои очки с толстыми стеклами, левой осторожно, как что-то до чрезвычайности хрупкое обнимал тетю Женю за её, в общем-то, крепкие, полноватые, во всяком случае, плечи, они открывали свои рты и стремились этими – как у желторотых птенцов, большими ртами друг к другу... Все были какие-то совсем необычные, постоянно шутили, и даже больная астмой баба Тоня, кажется, ни разу не дышала в свои трубки, не глотала порошков и пилюль, она была в каком-то доселе мной невиданном платье, сиреневом с белым кружевным воротником, и дядя Паша всё говорил мне: а, Олега, какая у тебя молодая красивая бабушка!..

Меня всё манил и манил этот желтобокий, крутобокий бочонок пива, спрятавшийся во дворе, в закоулке, стоящий на табуретке. Кажется, никто и не подходил к нему. Все пили красное деда Васи вино, рубиново-красное, посмотришь в налитый бокал на свет – играет этим светом, как великий футболист Пеле мячиком, пахло – здорово, вкусно, летом пахло, лесом пахло, не то, что те винища, что пил отец на кухне со своими Цурканами... Вина на той свадьбе мне, конечно, никто бы не налил, но я слышал, что пиво – это не очень страшно, от него трудно стать пьяным, и я хотел больше праздника, больше, уже невозможно, кажется, было больше, уже завели музыку и молодые танцевали, смешно изгибаясь: «А я иду тебе навстречу, и несу тебе цветы-ы-ы, та-та-та-та-та-таа-та... Королева красоты-ы-ы-ы!» Но я хотел ещё больше праздника, больше, чем возможно... И я, запыхавшись, вбежал на большую просторную кухню, выходящую окнами на задний двор, на тенистый тесный садик-огородик, прикрытый большущими зелеными шторами виноградных лиан, чуть не наткнулся на бабушку и выпалил: баб, налей мне пива! – Что? Клара, Клара, ты послушай, что он просит? Клара, ты будешь за сыном следить?..

Как? Да как же это так! Бабушка, моя добрая, моя воздушная бабушка так больно меня ударила, неужели она до сих пор не смогла понять, что если я просил что-то, то за секунду до просьбы я уже имел это в своем распоряжении? Зачем она так, словно меня не было рядом: ты будешь *за ним* следить? Как будто меня не было рядом... И мне чуть не в момент стало противно и скучно здесь. Все, даже включая Лёньку, который недавно научил меня вырезать из дерева настоящие самолеты-истребители, мои получались корявые, плохо струганная деревяшка на другой такой же деревяшке, не то, что у Лёньки, но всё же, – даже Лёнька показался мне очень скоро из ихних – из того, из взрослого, из враждебного мне лагеря, который через бабу Тоню приказал мне сесть на место, в свою детскую коляску и не показывать оттуда носа и не заикаться больше о пиве, которое так доступно, подходи любой и пей, сколько влезет, пиво стояло, скучало в изящном крутобоком, матово темно-желтом бочонке на табуретке в закоулке между стеной сарая и стеной кухни, под темноватым окном... Они ещё меня не знают, они ещё не знают меня, ведь ещё за минуту до того, как я обратился к кому-то с просьбой, я уже практически, почти реально имел то, что просил, я не привык, чтобы мне отказывали в том, что я решился попросить. И пусть танцуют под свою дурацкую «королеву красоты». И что за враньё – королева какой-то «красоты», я то уже читал «Снежную королеву» Ганса Христианса Андерсена, я то уже знал, что королевы бывают ледяные, злые ведьмы, а никакие не «королевы красоты»... Я напустил на себя равнодушный скучающий вид, как бы случайно оказался на кухне, когда там никого, даже бабушки не было, и взял со стола крепкий граненый стакан, мне хватило ума завернуть его в несколько слоев в газету, пачка старых газет лежала здесь же, на кухне, я вынес стакан во двор и спрятал его под виноградником, недалеко от скучающего бочонка. Я ещё побродил, покружил по заднему двору, выходил Лёнька, что-то мне говорил, но я решил не доверять даже Лёньке, слишком по-взрослому поблескивали его очки, слишком правильное и решительное он что-то говорил, это настораживало, это заставляло не доверять даже ему... Я улучил момент, когда вовсе никого на заднем дворе не было, подошел к бочонку, слыша бешеный стук своего сердца, открутил краник, налил полный стакан желтого пива с белоснежной пеной, я видел, как некоторые взрослые сдувают пену прямо на асфальтовый пол, и я тоже неловко, но сдул пену на асфальтовый пол – и выпил полный стакан пива... И ничего не произошло. Пиво тепло закатилось по груди в живот и тепло, кошкой свернулось там калачиком. И всё! И всё – и делов-то и страху-то! И стоило из-за этого бабушке делать страшные глаза и кричать маме: «Клара! Ты послушай, что он просит!» И я побежал туда, в гущу праздника, в гущу людей, где дядя Паша что-то говорил, а все так счастливо и беззаботно смеялись, а потом дядя Паша кричал «Горько!», – и тетя Женя, откидывала фату и закрывала глаза, а дядя Стасик приподнимал правой рукой свои очки с толстыми стеклами, левой рукой осторожно, как что-то до чрезвычайности хрупкое обнимал тетю Женю

за её, в общем-то, крепкие, полноватые, во всяком случае, плечи, и он был ростом чуть ли не на голову ниже её, они открывали свои рты и стремились этими – как у желторотых птенцов, большими ртами друг к другу... Я другой и третий раз подбегал к своему тайному бочонку, мы были с ним заговорщиками, мы были с ним друзьями, и заходящее за низкие крыши домов Рабочего городка солнце не блекло, а разгоралось всё ярче и ярче... а потом стало сиреневым, чуть ли не ярко-зеленым, как большие листья винограда, пиво в животе из желтого, янтарного стало почти черным, оно стало что-то грызть у меня внутри, в голове закопошились тараканы, маленькие мерзкие твари всё там расцарапали в голове своими жесткими усами, я забрался в небольшую тесную беседку во дворе рядом с душем и сараем с курами. Сел на кровать с лоскутным одеялом, широко открыл рот, меня вырвало, словно кто-то взрослый подошел к колонке на улице, недалеко от дома деда Васи и бабы Тони, и резко дернул за ручку, сильным потоком рвануло... Я провалился в небытие... А когда очнулся, рядом стоял почему-то с сильно виноватым видом отец, мама очень зло поблескивала очками в золотистой оправе, совсем поодаль стоял Лёнька и держал за руку мою маленькую сестренку Ленку. Что-то мне все разом стали говорить... У меня сильно, ах, как сильно болела голова! А потом остались рядом только мама, папа и дядя Паша, и дядя Паша, ставший таким очень серьезным, каким я его, кажется, никогда не видел, говорил мне, как взрослому: нельзя, Олег, совсем нельзя, понимаешь, больше не смей. А вот когда вырастешь, пойдешь в школу, закончишь школу, и тебя призовут в армию, вот тогда мы с тобой вмажем, ах, Олежка, как мы тогда на проводах с тобой вмажем!.. У меня сильно, ах, как сильно болела голова!.. И я тогда последний раз в жизни видел дядю Пашу... И сколько раз с тех пор мне хотелось больше праздника, чем есть на самом деле. Мне до сих пор кажется, что это возможно... Мне казалось это чуть позже той свадьбы, в самом начале лета, когда мы с папой и мамой, а Ленку оставили у бабушки, поехали от маминой работы, от райкома, в горы, отдохнуть на природу. В Семёновское ущелье. Оно называлось так потому, что здесь останавливался путешественник Семёнов-Тяньшаньский. И это было сказочное место. Это были зеленые, крутые, молодые бурные горы. В ущелье текла речка с самых горных ледников, вода прозрачная, прозрачней не бывает, если попробуешь напиться той воды – зубы ломит. Там на крутых склонах росли тяньшаньские голубые ели. Такие красивые, что они стоят в Москве на Красной Площади, возле памятника Неизвестному Солдату и у Кремлевской стены. Их ветви растут очень ровненько, густо, и не коряво, а прямо, и не вниз, а немного вверх, а стволы тоже очень ровные и густо-коричневые, а иголки действительно ярко-голубые. Трава зеленая-презеленая, но она не хочет пижонить и не доходит до изумрудного, она просто очень густого зеленого цвета. Это ущелье очень похоже на огромную тенистую комнату, огромнейшую залу, один из уголков Бога на этой Земле... Взрослые сидели на расстеленных одеялах, шутили, ели, пили, мне, конечно, было с ними скучно, я под шумок убежал от них, пошел, пошел всё выше в гору, цепляясь за высокие стебли травы, или просто так согнув свое тело вертикально к центру Земли, составив угол к склону горы, я забирался всё выше и выше, и взрослые на своих одеялах внизу и сбоку казались всё меньше и меньше... Эта поездка в горы, в Семёновское ущелье тоже была праздником, правда, другим, чем свадьба дяди Славы и тети Жени. Здесь было дыхание вечности. Я упивался этим дыханием. Мне хотелось всё больше и больше этого горного воздуха, я словно хотел надышаться им на всю оставшуюся жизнь. Я забирался всё выше и выше... И я стоял на горе, вокруг были тяньшаньские ели, было много, как нигде, никогда зеленого цвета, и голубое небо, и голубые тяньшаньские ели... и внезапно, не осознавая, что я делаю, я побежал с горы, я простер руки, как крылья, и бежал с горы, ни разу не упав, бежал всё быстрее и быстрее, передо мной возникали крепкие стволы елей – я как-то очень плавно при такой большой скорости обходил их и бежал вниз всё быстрее и быстрее, недалеко от подножья я, вытянув руки, как крылья – полетел... Я до сих пор хорошо помню этот полет, и, может быть, ничего прекраснее, волнующей этого полета никогда не было и не будет больше в моей жизни. Казалось, ангелы подхватили меня

под худое тельце, под живот и грудь своими легкими, почти не ощутимыми руками и бережно несли, спускали с горы...

Взрослым, собравшимся внизу, во главе с самим Первым, тогда, в конце шестидесятых годов, ещё было всё очень демократично, и первые секретари городских райкомов вполне могли поехать со своим аппаратом в горы, на пикничок и выпить свои полбутылки коньяку и говорить комплименты молодым и красивым женщинам и снять рубашку и сидеть в белой майке, из-под которой на груди выбивались такие несолидные волоски, – взрослым, собравшимся внизу, конечно, не было видно никаких ангелов. Они, открыв рты, замерев в оцепенении, смотрели, как этот шестилетний пацан, раскинув руки, летел с горы прямо головой на огромный камень, валун мертво-серого цвета, похожий на фантастически выросший в размерах конский череп, из-под и сбоку которого змеей вытекал маленький прозрачный ручей... Взрослые – кто-то встал, кто-то не в силах даже был подняться и сидел возле арбузов, бутербродов, шашлыка и бутылок – молча смотрели, как я скрылся за огромным валуном. Тут разом все вскочили и, отпихивая друг друга, побежали... Я сидел, прямо в ручье, который, слегка завихряясь, оббегал меня и тек дальше, в речку, сидел на песочке, прямо в ручье, держался обеими руками за голову и чему-то счастливо улыбался...

Прошел ещё год. Не в это лето, а в следующее, приехав в Юрлу, мы застали у дяди Ильи деда Петю, который ждал нас – о, радость! – с телегой, со старой, желтозубой серо-белой лошадкой. И мы поехали в Малый Сулай на телеге, дед сидел впереди, боком, иногда дергал за вожжи и понукал лошадку странным при его большой бороде звонким воздушным поцелуем, один раз над нами очень низко пролетел болотно-зеленый «кукурузник», странная железная стрекоза, а по бокам рос темный, хвойный сказочный лес, из-под него выбегали розовые гвоздички, иногда лес расступался, и открывались изумрудно-зеленые поля, и воздух был густой лесной, травяной, а небо глубоко-голубое, а облака спустились пониже, чтобы мы могли рассмотреть причудливых белых кроликов, стада белых овец, которые нароняли горки белоснежной пряжи, чтобы баба Аня связала из неё много полотенец и укрыла свежесшитыми полотенцами к нашему приезду углы больших иконостасов с семейными фотографиями и самое лучшее полотенце подстелила под большой чугунный крест со Спасителем. И в это лето опять полетели в космос космонавты, и никто из них не погиб, и я видел, когда мы пошли по ручью с покоса вглубь леса, который простирался далеко-далеко, аж до республики Коми, аж до самой тундры, мы шли по ручью, и всё было так сказочно, и нас напугал с шумом, внезапно, громко стуча по воде крыльями, выводок утят с замыкающей их ряд мамашей, что побежали, побежали от нас вниз по ручью. А в одном месте, где лес расступился для небольшой полянки, мы видели, – правда, мельком – настоящего лося, он с шумом, раздраженно встал со своей поляны, и, ломая сучья, ушел от нас в лес, потому что так заведено теперь – уходить лосям от людей, даже от тех, кто никогда не сделал бы им ничего плохого. И мне тогда очень тоскливо было уезжать из Малого Сулая, с Урала, только немного меня отогрела по пути назад встреча с дочкой Спицыных Леной – у неё был такой веселый, я бы даже сказал, насмешливый взгляд, такая независимая поступь, она, обняв меня одной рукой за плечо, разметава светлые, как у её матери волосы, стояла перед оперным театром, когда мы фотографировались, как всегда, на память, перед тем, как уехать из отпуска, из Перми, опять во Фрунзе...

Мне было очень грустно, когда с большим букетом астр, в каких-то дурацких черных шортах, обтягивающих, тесных, ну зачем мне мать их сшила! – мне было очень грустно фотографироваться в этих чертовых шортах и белой тесной рубашке, с сиреневыми и синевато-розовыми, колючих шишек букетом астр возле дома-пятиэтажки, перед тем как пойти первого сентября первый раз в первый класс... И я последний раз оглянулся на наш пятиэтажный дом, перед тем, как пойти в эту школу, последний, потому что я прощался с целым миром, с целой жизнью, я ещё не знал слова «реинкарнация», но мне словно предстояла какая-

то сущностная реинкарнация. Нет, мое тело оставалось прежним, но вся жизнь вокруг вот-вот – и была бы уже совсем другой, не прежней, – новой. Я словно знал, что будет невообразимо скучно первые три года в школе, потому что всё, чему там учили, я уже почти всё знал, но так надо было, по давно заведенному порядку в советской стране надо было, чтобы тотчас по исполнению ребенку семи лет ему тотчас идти в школу и учиться ровно тому, чему учат и всех остальных. И, конечно, я совсем не против был такого заведенного порядка, и где-то на краю сознания у меня теплился неподдельный интерес к тому, что будет в школе, с кем я там познакомлюсь, и что там будет новое, а в том, что там будет новое, сомневаться не приходилось... И всё же мне было невообразимо грустно... И очень боязно. Я вновь расставался с одним – привычным, обжитым, родным миром – и переходил в другой.

Глава 2

В шестидесятых годах молодые женщины в Советском Союзе рожали много детей. Во всяком случае, по два ребенка рожали практически все. Это было неписаной нормой. Этому способствовал последний за годы СССР пассивный взрыв. В те годы почти каждый вечер в Москве, на площади Маяковского, у памятника Маяковскому собирались поэты и читали свои стихи. Однажды там собралось целых три тысячи человек, которые читали и слушали стихи. И в музее Политехнического института в Москве собирались молодые, с горящими глазами люди и слушали стихи. И в каждом городе был свой Политехнический институт – где-то городской стадион, где-то столовка в студенческом общежитии, где-то просто летняя эстрада в парке... В те годы мы первый и последний раз за все годы СССР победили Америку. Мы первыми отправили человека в космос. Все любили Гагарина... Один восторженный папаша назвал своего сына, зарегистрировал его в ЗАГСе под именем Урювкос: это означало – «Ура! Юра в космосе!» А многие просто называли своих сыновей Юрами... Тогда казалось, что любые обещания маленького, не очень грамотного, лысого, какого-то дерганного человечка по фамилии Хрущев, что любые его обещания будут выполнены. Что мы скоро станем самой лучшей страной на свете, мы окончательно, во всём догоним и перегоним Америку, вырастим много пшеницы и – смешно, конечно, но... Ха-ха-ха... да нет, я это просто так – ну и кукурузы, а что, вон бабки торгуют на базарах вареной, рядом – баночка с солью, а что – и кукурузы! – А ты, что, веришь, что к восьмидесятому году у нас будет коммунизм? – Да как тебе сказать... без Сталина, конечно, хорошо, по доносам не сажают, но что-то, кажется, нужно такое, ну, вроде Сталина – тогда да, построим, чё-то расхлябался народ... – Так веришь или нет? – Ну чё ты пристал, верю, конечно!..

В шестидесятых годах молодые женщины в Советском Союзе рожали много детей...

На «линейке» в честь первого дня в школе, в первом классе стоял фантастически длинный ряд первоклашек – мальчики все как один в белых рубашках и черных шортах, девочки – в коричневых платьицах, белых фартуках с волнами оборок, в белых гольфах. Собрать «линейку» пришлось не в школьной рекреации, не в спортзале, а на асфальтовой дорожке на улице, сзади школы, за спортзалом, перед садиком с редко, но очень аккуратно посаженными яблоневыми деревцами – тоже в белых гольфах известкой промазанных от земли почти на метр стволов. Дальше шла внутренняя по Пятому микрорайону дорога, на которой в те годы было так мало машин, что прохожие по дороге ходили чуть ли не чаще, чем по тротуару...

Здесь стояли 1-й «а» класс, 1-й «б» класс, 1-й «в» класс, 1-й «г» класс, 1-й «д» класс и 1-й «е» класс.

И я впервые увидел так много своих сверстников, и я ужаснулся. Здесь были ребята много здоровее меня, и я уже знал, что простые физические кондиции дают человеку много преимуществ, и моя худоба и стандартный средний рост, а нас построили по росту и я был в середине, – моя худоба и стандартный средний рост – не самое лучшее моё приобретение за первые семь лет жизни и я скорее всего ещё не раз поплачусь за то, в чем я совсем не виноват... Здесь было много детишек с черными жесткими волосами, темноватой кожей и узким разрезом глаз, в обоих садиках у нас не было так много детей-киргизов, я уже знал, что киргизы – точно такие же люди, как мы, у мамы с папой было много друзей киргизов, но что-то подсказывало мне, что никогда ни при каких обстоятельствах мы так и не станем одним человеческим племенем... Я видел такое огромное количество детей – а здесь были дети не только из нашего Пятого микрорайона, но и из Четвертого, в этом году школу в их микрорайоне ещё не успели построить, здесь были дети из Третьего, ещё строящегося в предгорье микрорайона... Меня ужасало такое количество сверстников, потому что я даже не ожидал, что у меня будет столько

конкурентов жизни. Ведь любой из них имел ровно столько же прав любоваться желтыми, зелеными и алмазными горами рано утром, когда день промыт лучше любого стекла, воздух яркий до того, что звенит колокольчиками, восходящее солнце приятно покалывает веки и тело наливается необъяснимой истомой, любой из них имел ровно столько же прав любоваться горами, сколько и я. Любой из них, из этих почти двухсот маленьких людей имел ровно столько же, как и я, прав ходить по микрорайону и ездить в Рабочий городок. Уметь читать и писать задолго до того, как этому начали учить в школе, уметь играть в футбол задолго до того, как... в четвертом, кажется, да – в четвертом классе физрук первый раз выведет мальчишек во двор, к песочному, со сваренными из труб воротами полю, разобьет на две команды и скажет: левые в майках, правые без маек. Играйте – скоро первенство школы по футболу, до конца урока играйте... Любой, каждый из этих почти двухсот человек имел право на эту большую темного кирпича школу, а я уже знал, во всяком случае, ясно догадывался, что не совсем это так и первоклашки-то практически и никаких прав на школу не имеют, потому что быть хозяином в школе можно было проучившись здесь много-много лет, чем выше класс – тем больше прав называть школу своей... А когда уже можно – моя и только моя школа, с полным правом можно это сказать, заслужил, слезами, потом и кровью заслужил – надо уже из школы уходить, всё, последний звонок... У меня был даже не грустный, а запуганный, несчастный вид, когда я стоял со своим дурацким букетом астр, в тесной белой рубашке и тесных черных шортах на торжественной по определению, но такой мучительной на самом деле «линейке»... Здесь было много учителей, в основном женщин, только двое или трое мужчин. Один – несмотря на жаркий уже к десяти часам день – в костюме и при галстук. Скоро мне предстоит узнать, что это и есть легендарный завуч Яков Семёнович, который при всей его интеллигентности строго противостоял всем микрорайонским хулиганам (а в микрорайоне практически каждый пацан – хулиган), который блестяще окончил университет и аспирантуру и ему оставалось сделать полшага до кандидатской степени, а он сказал всем, что математика как наука – это не его призвание, его призвание – педагогика, и ушел в школу. Такие люди тогда были. К тому же поступок Якова Семёновича оценили по достоинству – дали ему квартиру... Здесь была сама директор, Вера Ивановна, очень серенькой наружности, ей бы при таком печально-некрасивом лице, сторбленной фигуре, такой безвкусной и, прямо скажем, бедной манере одеваться, какой-то коричневый грубой ткани платье-сарафан, сандалии, в которых на дачу ездить, а не на школьных «линейках» выступать, ей бы при такой внешности работать нянечкой в детском саду или санитаркой в больнице... Я ещё не знал, что, когда я буду во втором классе, ей вручат орден Ленина и изберут депутатом городского Совета народных депутатов, и она будет единственным человеком в этом совете, которому позволялось говорить чуть ли не всё, что она думает, и критиковать даже председателя горисполкома. Такие Веры Ивановны были практически в каждом городе, потому что было взрывное, пассионарное время в Советской стране и глоток воздуха нужен был даже в городском Совете народных депутатов... а потом всё равно её принципиальные выступления ни на что повлиять не могли... И сам Совет народных депутатов на самом деле ничего не решал. Он просто воплощал в какую-то бумажную форму то, что давно уже было решено в горкоме партии, а до него – в ЦК республики, и, казалось, что так будет вечно... Но я ничего этого ещё не знал, я об этом, конечно, даже не задумывался, а впрочем, мне и теперь всё равно, как было устроено на самом верху управление большим и важным, но всё-таки хозяйственным двором этой жизни, мне почти всё равно, как и сегодня оно устроено, ведь любое – даже самое прекрасное – хозяйство нужно только для того, чтобы у человека освободилось немного времени и он смог подумать о самом главном, самом важном... О чём? Да вот хотя бы о том, а что есть самое важное, самое главное...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.